

# Глава 11. АГОНИЯ ТИТАНА

Последние годы жизни Бакунин провел в Швейцарии, предпочитая южную ее часть со значительной долей италоговорящего населения. Здесь, в Локарно, недалеко от границы с Италией, в окружении молодых итальянских друзей и прозелитов, его часто навещали отовсюду приезжавшие гости. Жизнь по-прежнему была трудной, семью содержать было не на что. Антония Ксаверьевна, едва сводившая концы с концами, в начале 1872 года обратилась как-то в отчаянии и втайне от мужа к старому другу Огареву с письмом, дающим представление о их жизни в Локарно: «Николай Платонович. Нужда теснит нас. Хозяйка отказала б нам в квартире, если б мы не выплатили к 8 февраля (срок месячный найма квартиры) 317 фр[анков]. Мы были принуждены сделать [краткосрочный заем] в 300 фр[анков], и в конце февраля мы должны выплатить эту сумму в здешний национальный банк, иначе у нас опишут все наши вещи. Николай Платонович, вы легко поймете мое отчаяние, мой ужас, не из страха потери наших вещей, но нам после этого нельзя будет даже оставаться в Локарно. Я все средства уже истощила, я не знаю, что делать. Семья моя далеко, Мишель не имеет никаких средств, у меня двое маленьких детей. Николай Платонович, вы старый друг Мишеля, постарайтесь помочь нам, спасите нас от горького стыда описания нашего бедного имущества. Отвечайте, отвечайте скорее ради всего, что есть для вас святого. Простите беспорядок моего письма, но мне так тяжело, что и голова неясна. Пишу без ведома Мишеля, который был бы против моего письма...»

По какой-то неизвестной причине Огарев, ранее много раз выручавший Бакунина, на сей раз помочь не сумел (или не успел). И Антося спустя десять дней пишет новое, исполненное такого же отчаяния, письмо: «Николай Платонович. Не сейчас отвечала вам потому, что мне грустно было; не знаю как, но я имела надежду, что вы успеете помочь нам. Ошиблась. Простите беспокойство, бесполезную тревогу, причиненную вам моим письмом. Ничего не пишите о моем письме Мишелю. К чему! <...> Не нам первым, не нам последним познакомиться близко с настоящей нуждой. До этих пор мы как-то счастливо ее избегали, а теперь, а теперь, вероятно, придется и нам заплатить ей дань. Что касается Герценов, мне почти неизвестны Мишеля отношения с ними; я так чужда всей остальной жизни, кроме моих детей...»

Чуть позже Бакунину все же удалось раздобыть денег для поездки жены в Россию, откуда она намеревалась вывезти старого и больного отца. Но сам он, после того как Антося надолго уехала, оставил обжитую квартиру и поселился в таверне, где одновременно и столовался. Его нищенский быт описан в воспоминаниях бежавшего из России студента-медика Земфирия Константиновича Ралли-Арборе (1849-1933), навестившего Бакунина в Локарно. Почти все средства из его архискудного бюджета уходили на оплату почтовых расходов: вождь мирового анархизма вел непрерывную и обширнейшую переписку со всей Европой. На чай, кофе, табак денег (разумеется, когда они были) не жалел. В остальном — как придется. О своем распорядке дня поведал сам. В 11 часов утра — скромный завтрак, через полтора часа — обязательный визит в кафе — исключительно для чтения свежих

газет и ранее назначенных встреч. После непродолжительной прогулки — сон с 16 до 20 часов. Далее до 22 часов — чай и деловые встречи. И, наконец, ночь — самая активная часть каждодневной жизни, работа за столом над статьями и письмами. Он был любимцем местной детворы, и, когда выходил из дома, ватаги мальчишек хором приветствовали его: «Да здравствует Мишель!»

Иногда наведывался в Цюрих, мог прожить там до двух месяцев, ежедневно общаясь со своими соратниками. Его мощная, издалека заметная фигура в особенности привлекала обучавшихся здесь русских студентов. Часть из них обедала в одном с ним кафе. Для молодежи (независимо от конкретных политических убеждений) Бакунин был живой легендой, вызывавшей неподдельное восхищение. Одна бывшая русская студентка опубликовала на основе своего девичьего дневника под псевдонимом Е. Ель воспоминания о пребывании в Цюрихе «отца анархии» спустя двадцать лет после его смерти. Непритязательная, но точная зарисовка позволяет почти воочию представить Бакунина тех дней:

«<...> Дверь широко распахнулась, и в ней показалась громадная фигура Михаила Александровича Бакунина. Все мгновенно замолкли, глаза всех невольно устремились на Бакунина. Но Михаилу Александровичу обращать на себя внимание было делом таким привычным, что он, не смущаясь вызывающими взглядами, своей ровной, легкой и свободной походкой прошел через всю комнату к своему месту. Так как внимание всех присутствующих сосредоточилось на нем, то за ним прошла незамеченною вся его многочисленная свита, состоявшая из французов, испанцев, итальянцев, русских и сербов. Заметили, впрочем, еще высокую полную даму, так сильно задевшую стол, что на нем загремели стаканы. “Эка ты, матушка!” — сказал ей Бакунин и тем заставил ее покраснеть, а других засмеяться.

Бакунин уселся так близко от меня, что я, несмотря на свою близорукость, могла хорошо рассмотреть его огромную голову с львиной гривой густых волос, благообразное, хотя и неправильное, чисто русское лицо с неопределенным носом и широкими скулами, с грубым румянцем пожилого человека. Ему, сколько мне известно, пятьдесят девять лет, но он смотрится моложе; серые глаза его в одно и то же время как-то наивны и зорки; они выражают попеременно и добродушие, и русское “себе на уме”. Одет он в какую-то неопределенного покроя серую пару, пожелтевшую от времени. Однако он несколько не имеет вида человека, дурно одетого, вполне оправдывая пословицу: человек красит платье.

Прислуживать за бакунинским столом пришлось Берте, и я видела, с каким страхом в глазах подносила она ему кушанья, не подходя к нему близко и вытягивая руки с блюдом. Ее локоны так и дрожали. А Бакунин, оживленно разговаривая со своим интернационалом, не только не замечал внушаемого им страха, но поглядывал на БERTY в высшей степени добродушно. Обращаясь то к одному, то к другому из присутствующих, он говорил то по-немецки, то по-итальянски, то по-французски, то по-испански, несколько не стесняясь, но в конце концов русская речь взяла перевес. Как видно, он был сегодня в ударе; вспоминал свою молодость, Москву, дружбу с Белинским; все слушали его свободную, прекрасную речь не только за его столом, но и за нашим. Никто не решался говорить в присутствии такого оратора, но за столом Бакунина царствовало восторженное, несколько подобоострастное

молчание, а за нашим все молчали, внутренне досадуя на себя, что нет смелости заговорить. После обеда Бакунин не собирался тотчас же уходить, спросил у кого-то папиросу и обратился ко мне с просьбой разрешить ему курить. Это возмутило всех его дам; они закричали было: “Вот еще!” Но он остановил их жестом своей мощной руки и прибавил: “Кажется, я не вас спрашиваю”...»

Спустя месяц студентка встретила Бакунина на улице в широкополой шляпе, украшенной красной лентой. За ним следовала толпа зевак всех национальностей, исключая швейцарцев, и автору мемуаров вспомнилась строка из басни Крылова: «По улице слона водили»... Особенно выделялись в разношерстной толпе русские эмансипированные женщины, наслаждавшиеся воздухом относительной швейцарской свободы. Они повсюду сопровождали Бакунина, если он только позволял, готовили ему еду на спиртовке, чинили одежду, где только можно занимали для него деньги и звали «стариком». Некоторые докучали неумными вопросами и получали на них язвительные ответы, сарказм которых до бесцеремонных особ, как правило, не доходил. Одна такая назойливо выпытывала: «Михаил Александрович, скажи, пожалуйста, если бы ты добился исполнения всех своих планов: разрушил бы все до основания, а на развалинах построил задуманное, что бы ты стал делать на другой день?» На это Бакунин с хитровой улыбкой русского мужика отвечал: «Начал бы разрушать всё заново!»...

Между тем активная пропагандистская и конспиративная деятельность Бакунина стала изрядно раздражать швейцарские власти. На повестку дня встал вопрос о его насильственной высылке за пределы республики. Официальное решение на сей счет уже подготавливалось; единственное, что могло ему помешать — обзаведение солидной недвижимостью. Согласно швейцарским законам, иностранец — собственник земли в любом из кантонов — выселению не подлежал. В данной связи друзья-анархисты задумали оригинальную комбинацию: приобрести на имя Бакунина имение (желательно у самой границы с Италией), тем самым превратив его в собственника и сделав неуязвимым для возможных репрессий. Сам же купленный дом превратить в штаб-квартиру «Альянса социалистической демократии» и других организаций, возглавляемых «апостолом грядущих революций», а заодно приспособить для размещения типографии, тайного склада оружия и убежища для лиц, скрывающихся от преследования полиции.

Сыскался и человек, готовый финансировать затеянный проект. Молодого итальянского аристократа, восторженного поклонника Бакунина, звали Карло Кафиеро. Он только что получил наследство и мечтал использовать его для революционной борьбы, а тут как раз и представился прекрасный случай. Быстро подыскивали подходящую виллу, имевшую по традиции собственное имя — «Бароната», и Бакунин в глазах местных властей сразу же превратился в почтенного буржуа. Ему и самому нравилось новое владение.

М. П. Сажин, одним из первых навестивший своего учителя, оставил подробное описание виллы «Бароната». «Весь участок земли составлял не больше одной трети десятины и был расположен по склону горы, у подошвы которой вдоль озера Лаго-Маджиоре шло шоссе на Локарно, служившее границей “Баронаты”. На этом участке был виноградник в 20–25 квадратных саженей, несколько грядок с овощами, цистерна для воды и старый двухэтажный дом, оштукатуренный снаружи и внутри. В нижнем этаже помещались кухня,

столовая и две комнаты для приезжих гостей, а в верхнем — еще две комнаты и соединяющая их крытая веранда. В одной из верхних комнат жил Бакунин, в другой — Кафиеро с женою. Все комнаты были небольшие, закоптелые и довольно грязные, — итальянцы живут вообще грязновато. Меблировка была прямо убогая: в столовой — простые белые табуретки, скамейки и колченогие стулья, в нашей комнате стоял диван с продавленным сиденьем, на котором спали приезжающие, и стол с двумя очень древними стульями. Передний фасад дома обращен был на озеро, и перед ним по склону вниз посажено было много самых обыкновенных цветов; сзади дома была площадка, на которую был выход из дома. С этой площадки зигзагом вниз к озеру тянулась дорога шириною аршина в 3–4. Остальная местность представляла собою голый камень, и только кое-где виднелся кустик или какое-либо дерево. Зато вид на озеро и противоположные горы был великолепный. Бакунин занимал одну комнату, в которой в углу стояла большая кровать с мочальным матрасом, посредине комнаты — большой простой белый стол, заваленный газетами, книгами, бумагами и табаком, 4–5 стульев, простые белые полки с книгами, комод для белья, да на стене висели пара платья, пальто и шляпа. Было также бедно и грязновато, как и прежде. В доме жила одна прислуга, простая крестьянская женщина, стряпуха, довольно уже пожилая; она убирала комнаты и стряпала обед».

Запущенная вилла требовала капитального ремонта и расширения за счет разного рода пристроек. Бакунин и Кафиеро затеяли грандиозную реконструкцию, наняли архитектора и бригаду строителей. Однако в хозяйственных и финансовых вопросах оба разбирались очень плохо, поэтому быстро стали жертвами нечестных подрядчиков. Деньги у спонсора закончились, когда строительные работы были в самом разгаре. Между недавними друзьями начались трения, приведшие вскоре к охлаждению деловых и всех остальных отношений. В это же время из России вернулась Антония Ксаверьевна с детьми и старым отцом. Она не знала деталей имущественных и договорных отношений мужа с малознакомыми ей компаньонами, посчитала, что в общем-то понравившаяся вилла принадлежит целиком и полностью ее семье и потребовала (в отсутствие Бакунина), чтобы Кафиеро с женой освободили занимаемые помещения. Разразившийся скандал привел к полному разрыву между недавними друзьями.

Бакунин вынужден был отказаться от прав на виллу «Бароната» и вернулся на частную квартиру. Как-то во время поездки в Берн для консультации с врачами он столкнулся с давним знакомым — П. В. Анненковым, рассказавшим об этой встрече в письме И. С. Тургеневу: «Громадная масса жира, с головой пьяного Юпитера, растрепанной, точно она ночь в русском кабаке провела, — вот что предстало мне в Берне под именем Бакунина. Это грандиозно, и это жалко, как вид колоссального здания после пожара. Но когда эта руина заговорила, и преимущественно о России и что с ней будет, то опять явился старый добрейший фантаст, оратор-романтик, милейший и увлекательный сомнамбул, ничего не знающий и только показывающий, как он умеет ходить по перекладинам, крышам и карнизам».

\* \* \*

Естественно, вовсе не семейные заботы и хозяйственные вопросы были у Бакунина на переднем плане. Он по-прежнему грезил революциями — на сей раз в Испании и Италии. В Испании после провозглашения кортесами 11 февраля 1873 года республики назревала революционная ситуация. Бакунисты оказывали здесь определенное воздействие на общественное мнение народных масс, но, для того чтобы довести дело до всеобщего восстания, не хватало вождя, который смог бы направить разрозненные выступления в единое русло. Бакунин, как всегда, рвался в бой, намереваясь личным примером вдохновить горячих испанцев, но неожиданно встретил противодействие — на сей раз не со стороны врагов, а со стороны друзей. Его итальянские соратники денег на дорогу не дали, заявив в категорической форме, что в связи с проблемами со здоровьем «старика» следует сосредоточить внимание не на Испании, а на Италии.

Здоровье его действительно становилось все хуже и хуже. Иногда после сна из-за болей в пояснице он без посторонней помощи не мог даже встать с постели. А ведь это была совсем не главная болезнь. Постоянно беспокоили боли в сердце, астма, простатит, водянка, постепенно отказывали почки, прогрессировала глухота. Оптимизм и боевитость, отродясь присущие Бакунину, все чаще сменялись пессимизмом и упадническим настроением. Идейные и житейские размолвки с соратниками не прибавляли радостей жизни. Не прекращались нападки Маркса и его друзей. После очередного выпада со стороны Генерального совета Интернационала, подкрепленного печатным и разосланным по всей Европе и Америке документом, Михаил Александрович, наконец, решил: пора уходить на покой. Решение свое тотчас же подкрепил опубликованным в женеvской газете открытым письмом, обращенным ко всем друзьям и недругам. В начале он посчитал нужным дать отповедь Карлу Марксу, обвинив его в прямой клевете. Затем заявил о своем глубоком отвращении к дальнейшей политической деятельности: «<...> С меня этого довольно, и я, проведший всю жизнь в борьбе, от нее устал. Мне больше шестидесяти лет, и болезнь сердца, ухудшающаяся с годами, делает мне жизнь все труднее. Пусть возьмутся за работу другие, более молодые, я же не чувствую в себе уже нужных сил, а может, и нужной веры, чтобы продолжать катить Сизифов камень против повсюду торжествующей реакции. Поэтому я удаляюсь с арены борьбы и требую у моих милых современников только одного — забвения. Отныне я не нарушу ничьего покоя, пусть же и меня оставят в покое».

Одновременно в закрытом письме он обратился к своим сподвижникам по «Альянсу» и Анархистскому интернационалу. Здесь — те же аргументы, но значительно больше политических акцентов и нюансов: «Дорогие товарищи! Я не могу и не должен покинуть политическую жизнь без того, чтобы не адресовать вам последнее слово признательности и симпатии. Почти четыре года с половиной, что мы знаем друг друга, и, несмотря на все происки и клеветы общих врагов, обрушившиеся на меня, вы сохранили мне ваше уважение, вашу дружбу и ваше доверие. Вы не позволили даже запугать себя названием “бакунистов”, которое было брошено вам в лицо. <...> Вы так поступили, и именно потому, что вы имели мужество и стойкость так поступить, мы сегодня победили вполне честлюбивую интригу марксистов во имя свободы пролетариата и будущего Международного товарищества рабочих. Поддержанные стойко нашими братьями в Италии, Испании, Франции, Бельгии, Голландии, Англии и Америке, вы снова направили великое общество Интернационала на путь, с которого диктаторские поползновения г-на Маркса едва не заставили свернуть. <...>

Прошу вас принять мою отставку как... члена Международного товарищества рабочих. Поступая так, я имею на то много оснований. Не думайте, что это главным образом потому, что лично я в последнее время был целью клеветнических нападок. Не говорю, что я остался к ним не чувствителен. Все же я нашел бы еще достаточно сил и терпения, если бы я думал, что мое участие в вашей работе, в вашей борьбе, могло бы быть полезным для пролетариата. Но я не думаю так. По рождению своему и по личному положению, но не по симпатиям и стремлениям, я не что иное, как буржуа, и как таковой между вами я не могу делать ничего иного, кроме теоретической пропаганды. Я убежден, однако, что время больших теоретических речей — печатных или произносимых, прошло. Последние девять лет в недрах Интернационала было развито более идей, нежели надобно для спасения мира, если бы одни идеи могли [его] спасти.

Теперь — время не идей, а действий и фактов. Теперь важнее всего — организовать силы пролетариата. Но эта организация должна быть делом самого пролетариата. Если бы я был молод, я бы вошел в рабочую среду и, разделяя трудовую жизнь моих собратьев, я вместе с ними принял бы также участие по этой необходимой организации. Но мой возраст и мое здоровье не позволяют мне сделать это. Они требуют, напротив, одиночества и покоя. Малейшее усилие — одним путешествием больше или меньше — для меня уже большое дело. Морально я чувствую себя еще достаточно сильным, но физически я сейчас же устаю и не чувствую в себе уже нужных сил для борьбы. Поэтому в лагере пролетариата я был бы только лишним грузом, а не помощником. <...>

Я ухожу, дорогие товарищи, полный благодарности к вам и симпатии к вашему святому великому делу — делу человечества. Я буду продолжать следить с братской тревогой за всеми вашими шагами и преклонюсь с радостью перед всякой вашей новой победой. Вплоть до смерти, я ваш». На прощание Бакунин еще раз напомнил о высшей человеческой ценности — СВОБОДЕ, которую свято завещал беречь как зеницу ока и во имя которой только и возможна грядущая революция: «Твердо держитесь принципа большой и широкой свободы, без которой даже равенство и солидарность — только ложь».

Однако «время действий» для «вечного бунтаря» еще не прошло, и, как оказалось, порох в пороховницах совсем не иссяк. Неожиданный поворот событий отодвинул прощание с революцией на задний план. В общем-то, для Бакунина никогда не являлось секретом, что окружавшие его молодые итальянцы во главе с двадцатилетним студентом Андреа Коста готовили вооруженные восстания в ряде крупных городов Италии с перспективой распространения революции на всю страну. Закупалось оружие, взрывчатка, печатались листовки, велись переговоры с гарибальдийцами, создавались подпольные ячейки, готовые в любое время превратиться в отряды инсургентов. Начать решили с Болоньи, затем к ней должны были присоединиться Флоренция, Неаполь, Равенна и Кремона. Бакунину отводилась особая роль. В случае успеха выступления ему предстояло возглавить временное правительство. В случае же поражения восстания «старика» было рекомендовано погибнуть на баррикаде (!). По мнению итальянских анархистов, гибель в бою всемирно известного революционера вызовет политическое потрясение не только в Италии, но и во всей Европе, а сам Бакунин превратится в символ и знамя всеевропейской революции. Ничего не скажешь — циничная логика, вполне достойная молодых итальянских наследников дела Нечаева!

Самое интересное в этой истории, что Бакунин тоже знал об уготовленной ему участи. Поэтому в Италию из Швейцарии он ехал, охваченный бурей противоречивых чувств. Нет, смерти он не боялся. Он презирал ее всегда и потому никогда не страшился. Во имя революции он был готов стать жертвой и погибнуть на баррикаде с оружием в руках. Еще лучше — с красным знаменем, подобно тургеневскому Рудину. Кто бы мог подумать, что Иван Сергеевич (Ваня, как он его запросто звал во время совместной жизни в Берлине в 40-х годах) смог предвидеть в герое своего романа, списанного с Бакунина, трагическую и вместе с тем героическую смерть своего давнего друга. Но вот что никак не вмещалось в его сознание, это антигуманный цинизм его ближайших (как он до недавнего времени полагал) итальянских друзей, которые недрогнувшей рукой собирались принести своего старого и больного вождя в жертву на алтарь революции.

Восстание в Болонье должно было начаться в ночь на 7 августа 1874 года. Накануне сюда привезли больного Бакунина и поселили на конспиративной квартире. К восставшим ему предстояло присоединиться после захвата арсенала и городской ратуши. Но за ним так никто и не пришел — восстание провалилось, даже не успев начаться. Даже сигнала к выступлению не последовало, так как руководителей восстания по доносу предателей арестовали. Правда, на пустыре близ города собралось около трехсот человек — в десять раз меньше необходимого количества. Оружие им раздали неукomплектованное и устарелое, заряжавшееся с дула, а пули оказались большего калибра. Еще один отряд окружили поднятые по тревоге войска, рассеяв собравшихся. В городе начались повальные аресты.

Бакунин быстро сообразил, что восстание провалено, что означало окончательное крушение всех его надежд. Впереди он не видел ничего, кроме абсолютной пустоты. Непрерывно мучили боли. Нервы стали сдавать. Душила обида на недавних друзей, сознательно отправивших его на смерть. Отрывочно-лихорадочные строки, оставленные той страшной ночью в дневнике (его вернее было бы назвать нерегулярными хронологическими заметками), свидетельствуют о нахлынувшем отчаянии. Бакунин решил навсегда покончить счеты с жизнью — револьвер был под рукой. Определил даже крайний срок — 4 часа утра. Только внезапное появление связного уберегло его от рокового шага. Ему сбрили бороду, нарядили в длинную сутану священника, нахлобучили широкополую шляпу, надели большие очки, а в руки дали массивную палку и корзину с яйцами. Необходимо было добраться до вокзала, не вызывая подозрений многочисленных патрулей. В последний момент мнимого священника усадили в общий вагон, и поезд тронулся в сторону итало-швейцарской границы.

\* \* \*

Вот теперь Бакунин действительно решил прекратить политическую деятельность. Старому верному другу Огареву он писал: «Я также, мой старый друг, удалился, и на этот раз удалился решительно и окончательно, от всякой практической деятельности, от всякой связи для практических предприятий. Во-первых, потому, что настоящее время для таких предприятий решительно неудобно; бисмаркианизм, то есть военщина, полиция и финансовая монополия, совокupленные в одну систему, носящую имя новейшего

государства, торжествуют повсюду. <...> Не говори, чтобы в настоящее время нечего было делать; но это новое дело требует нового метода, а главное — свежих молодых сил, и я чувствую, что я для новой борьбы не гоюсь, а потому и подал в отставку... Здоровье мое становится все плоше и плоше, так что к новым революционным попыткам и передрягам я стал решительно не способен».

Пессимистические мысли, отчасти объясняющие настроение отказавшегося от борьбы старого революционера, можно найти в письме от 15 февраля 1875 года к верному сподвижнику — всемирно знаменитому географу Элизе Реклю: «Я согласен с тобою, что время революции прошло не по причине ужасных катастроф, свидетелями которых мы были, и страшных поражений, жертвами которых мы оказались, но потому, что я, к моему великому отчаянию, констатировал и каждый день снова констатирую, что в массах решительно нет революционной мысли, надежды и страсти, а когда их нет, то можно хлопотать сколько угодно, а толку никакого не будет. <...> Я окончательно отказался от борьбы и проведу остаток дней моих в созерцании — не праздном, а, напротив, умственно очень действенном, которое, как я надеюсь, даст что-нибудь полезное. Одна из страстей, владеющих мной в данное время, это колоссальная любознательность. Раз вынужденный признать, что зло восторжествовало и что я не в силах помешать этому, я принялся изучать его эволюцию и развитие с почти научною, совершенно объективною страстью».

Бакунин всячески пытался вписаться в спокойную размеренную жизнь человека, отошедшего от политики. Читал философскую литературу, особенно приистрастился к недавно скончавшемуся Артуру Шопенгауэру (1788-1860), чей классический труд «Мир как воля и представление» сделался теперь настольной книгой старого гегельянца. Особенно нравилось ему в заголовке слово «воля», означающее в русском языке не только «воление» как таковое (что, собственно, и имел в виду Шопенгауэр), но и во все времена драгоценную для Михаила СВОБОДУ, отсутствие насилия и принуждения. Однако на переднем плане вновь оказались бытовые и хозяйственные заботы. Дабы застраховать себя и семью от всяких случайностей, он решил купить в кредит небольшую (но со значительным участком земли) виллу в окрестности Локарно. Подходящий вариант нашелся в местечке Лугано, куда Бакунин и перебрался в октябре 1874 года вместе со всеми домочадцами.

О жизни Бакунина в его последнем пристанище сохранился ряд подробных воспоминаний многих посещавших его людей, в том числе и незнакомых. Среди них бывший член Парижской коммуны прудонист Артур Арну (1833-1895), скрывавшийся от преследований в Швейцарии и случайно оказавшийся в Лугано. Вот несколько отрывков из его обширных воспоминаний о Бакунине:

«Это был гигант, огромный, могучий и тяжелый, который с трудом прошел бы, не согнувшись, в дверь обыкновенной квартиры. На нем была мягкая серая фетровая шляпа, которую при мне он ни разу не поднял и не снял. <...> Все в нем было пропорционально, бюст, члены, и все в колоссальных размерах, так что, когда он подвигался своей спокойной, размеренной, твердой и скорее медлительной поступью, шаги его были так широки, что спутник его принужден был почти бежать, чтобы от него не отставать. Огромная голова, покрытая целым лесом длинных всклокоченных волос, не знавших гребенки, и борода, обрамлявшая нижнюю часть лица и часть щек, удачно дополняли общий монументальный

вид. У него была калмыцкая внешность с приплюснутыми, широкими чертами и выдающимися скулами. Лоб был высокий, глаза, небольшие, но сверкающие и подвижные, быстро меняли выражение, вспыхивали огнем и грозowymi молниями и выражали дику суровость. Рот имел ироническое или угрожающее выражение, но временами освещался женской улыбкой. Он шагал прямо, но опустив голову, подобно всем людям слишком высокого роста. <...>

Зимой и летом он носил все тот же костюм, никогда не сменявшийся и состоявший из тяжелых стоптанных сапог, в голенища которых опущены были панталоны, поддерживавшиеся только нетуго затянутым ремнем, из серой развевающейся накидки необычной формы, без талии, застегнутой на одну верхнюю пуговицу. Бычью шею окутывал свободный, плохо повязанный кусок материи, из-за которого местами выглядывал ненакрахмаленный, поношенный воротник, просившийся в стирку. На голове знаменитая мягкая серая фетровая шляпа, имевшая такой вид, точно она никогда не была новой. Этих сапог, этих панталон, этой накидки, этого фуляра, этой шляпы Михаил Бакунин никогда не снимал, даже ночью, так как он спал нераздетый на доске, положенной на низкие козлы и покрытой тюфяком. Эти сапоги, эти панталоны и эта накидка хранили на себе следы грязи всех пережитых зим и пыли всех пережитых лет (а в общем это представляло нечто серьезное), точно так же и запущенная борода часто могла служить обеденным меню прошедшей недели. И при всем том, смею вас уверить, внешность настоящего барина, и никто при виде его не помышлял о смехе или о критике. <...>

Он был ласков, как овечка, и непреодолимый обольститель, если нуждался в вас. Часто он, когда не был печален и мрачен, проявлял тощую и благодушную веселость; он обнаруживал хороший тон и хороший вкус, а также чисто французское остроумие, которое заставляло чувствовать в нем за версту настоящего барина и образованного человека. Этот мастодонт, о существовании у которого бивней можно было догадываться, не испытывая особого желания познакомиться с ними поближе, был утонченным интеллигентом, который знал назубок своих любимых авторов, особенно французских, и вдруг начинал напевать арию из “Прекрасной Елены” или преподносил вам пассаж из Мейляка и Галеви, словцо Лабиша либо каламбур любого из водевилистов 1830–1870 годов. Этот русский заимствовал многое от французов.

Узнав о том, что я нахожусь в Лугано, он немедленно явился ко мне, протянул мне свою огромную руку, в которую я вложил свою не без некоторого опасения, и сказал мне: “Мы здесь единственные два иностранца, оба изгнанники. Мы будем братьями. Когда у вас будут деньги, вы дадите мне. Когда у меня будут, я дам вам”. Однако у Бакунина никогда не было денег, что, впрочем, мало его смущало и не мешало ему “много тратить”. <...> Это была не лень, не расчет, не эксплуатация и не желание разорить вас. Нисколько. Если бы у него были деньги, он бы вам дал их, не считая, с самым искренним чувством, но беда в том, что у него их не было, а он в них нуждался. <...>

Жизнь Бакунина в Лугано была очень регулярной. Он вставал около 8 часов, отправлялся на Театральную площадь и усаживался в кафе Террени. Здесь он прочитывал газеты, завтракал, принимал знакомых, писал письма. Около двух часов дня он уходил домой. В кафе он тратил на себя одного столько, сколько тратят вместе 20 тессинцев, отличающихся

чисто итальянской трезвостью. <...> Не имея денег или имея их очень мало, Бакунин никогда не платил по счету. Он сумел внушить содержательнице кафе неограниченное доверие и даже занимал у нее деньги, так что в конце концов задолжал ей большую сумму. <...>

Выйдя из кафе, он заходил в кондитерскую напротив, где набивал свои карманы пирожками для «детешек». В 2 часа он вторично садился за стол, в этот раз дома; затем в 4 часа он ложился, на его языке «ложился», то есть бросался в одежде и сапогах на тощий тюфячок, покрывавший поставленную на козлы доску. Он вставал между 8 и 9 часами и шел в гостиную, где Антония угощала чаем своих друзей. Здесь он вмешивался в разговор, раскрывал все чары своего ума и очаровывал слушателей в течение всего вечера своей разносторонней эрудицией тонкого знатока литературы, своими неожиданными замечаниями, самыми едкими выпадами против той или иной знаменитости; он говорил о своем пребывании во Франции во время революции 1848 года, еще полный того обольстительного впечатления, которое произвел на него Париж; он говорил также о Германии, которую хорошо знал и терпеть не мог; рассказывал о своем кругосветном путешествии после побега из Сибири, распространяясь при этом об Японии, которая его поразила и которую он сильно хвалил. <...> Когда в 11 или 12 часов все расходились, Бакунин удалялся в свою комнату и работал всю остальную часть ночи; затем утром снова бросался на свою походную кровать на часок-другой...»

Не менее обширные мемуары оставила русская социалистка А. В. Вебер-Баулер (Гольштейн), приехавшая весной 1876 года из Петербурга в Лугано, не зная, что там поселился Бакунин. Поначалу тот принял любознательную девушку за подосланного агента царской охраны, но постепенно убедился, что ошибся. Гостью привел к знаменитому революционеру ее пожилой учитель итальянского языка И. Педерцолли, хорошо знакомый с самым знаменитым местным эмигрантом и называвший его «величайшим русским». Цепкий и внимательный взгляд зафиксировал множество таких деталей, которые наверняка ускользнули бы от других:

«Мы вошли в ворота и попали в отгороженное пространство, которое, верно, было когда-то садом. Теперь все было перерыто. Кое-где торчали деревья, в других местах виднелись гряды, всюду были кучи желто-бурой земли и ямы, налившиеся дождевой водой. Вдали какие-то люди копались в земле. Около них спиной к нам стоял гигант. Длинное пальто с пелериной падало прямыми складками почти до земли; из-под шляпы с широчайшими полями выбивались кудри седых волос. Что-то монументальное и гордое исходило от этой пышной фигуры, резко черневшей на рыжем фоне вырытой земли.

— Michel, я привел своего русского друга! — закричал Педерцолли.

Бакунин быстро обернулся, как-то засуетился, почему-то смешно распахнул пальто, точно собирался сделать реверанс (как потом выяснилось, таким образом он пытался скрыть от посторонних находившегося у него в это время гостя-нелегала. — В. Д.), отдал шепотом какое-то приказание рабочим, копавшим землю, и только потом пошел нам навстречу, шлепая калошами по вязкой грязи сада. Он был так высок, а я так мала, что могла видеть только его протянутую руку, большую и породистую, да низ толстой вязаной фуфайки

сомнительной чистоты.

На громкий зов: “Антося!” из дому вышла сухенькая, гибкая женщина, совсем еще молодая. Она была одета как итальянские работницы: с головы, окутывая стан, спускалась черная вязаная шаль, из-под юбки виднелись тонкие ноги в “цоколях” (род деревянных сандалий на высоких каблуках), надетых на толстые черные чулки с белыми носками. То была Антония Ксаверьевна Бакунина. Она показалась мне незначительной и некрасивой. Педерцолли представил меня ей чрезвычайно церемонно. Мы пошли к дому, обходя ямы, шагая по доскам, пробираясь в ущельях щебня и мусора.

По довольно темной лестнице мы вошли в большую узловую комнату, светлую, заставленную, но неуютную. В одном углу ее помещалась резная кровать, покрытая большим шерстяным платком вместо одеяла; у двери стоял длинный стол, на котором был подан чай, и на нем же лежала груда табаку, стояла чернильница на развернутой газете, валялись обломки игрушек, куски шоколада; другие столы и большая конторка тонули под бумагами, среди которых высывались аптечные склянки. Полочка книг ютилась у стола. Книг было мало, зато всюду — на полу, на стульях, на кровати — разбросаны были газеты разных стран, форматов и политических оттенков. То была спальня, вместе с тем приемная, столовая и рабочий кабинет Михаила Александровича.

Бакунин с изысканной старческой простотой и приветливостью усадил меня легким прикосновением к плечу и сам, как мне показалось, с тихим стоном опустил на стул рядом со мной. Большая седая голова была теперь на моем уровне. Из-под высокого лба прямо мне в лицо глядели зеленые, черствые, злые глаза, глядели пристально. Мне стало жутко, и где-то глубоко шевельнулась неприязнь. (Напомню, что первоначально Бакунин принял незнакомую гостью за русскую шпионку, подосланную охранкой. — В. Д.)

<...> Пили чай, курили, курили много, говорили о саде, о доме, о том, как М[ихаил] Александрович] будет сеять огурцы и непременно укроп, какие он посадит деревья.

— Зачем у вас столько ям в саду? — спросила я.

— Ничего никогда не будет в этом саду, кроме ям, — подхватила на бойком и гладком, но несколько вульгарном французском языке Антония Ксаверьевна.

Французский язык Бакунина был прост и широк, как все в его личности; фразы выливались сразу в округленные законченные формы; легкий русский акцент придавал им особенную музыкальность.

— Ямы специально для лягушек, — сказал Бакунин. — До смерти люблю их кваканье. Удивительно музыкальное животное. Жили в русской деревне? Что может быть лучше русского летнего вечера, когда в прудах лягушки задают свой концерт?

Он опустил голову; злой огонек потух в глазах, печаль подернула лицо и тенью легла вокруг губ.

Педерцолли с пафосом рассказывал А[нтонии] [К]саверьевне о смерти одного их общего знакомого.

— Что ни говори, — закончил он, — смерть страшна для всех, даже нам, хотя, конечно, мы ада не боимся.

Бакунин точно встрепнулся.

— Смерть? Она мне улыбается, очень улыбается, — сказал он по-французски. — Знаете, у меня была сестра. Умирая, она сказала мне: “Ах, Мишель, как хорошо умирать! Так хорошо можно вытянуться”... Не правда ли, это самое лучшее, что можно сказать про смерть?

В этих словах было столько простого, искреннего желания отдыха и покоя. Они прозвучали диссонансом самодовольной пошлости Педерцолли и суете, которой веяло от Антонии Ксаверьевны. Бакунин мешал ложечкой чай и (от боли. — В. Д.) весь точно осел на локти, лежавшие на столе.

В моем представлении в ту минуту исчез великий революционер, неустанный борец, призывавший к разрушению. Передо мной очутился утомленный жизнью старик. Он мне казался таким одиноким, далеким от всего, что его окружало непосредственно. Его русские слова, сказанные именно мне, прозвучали как призыв издали близкого, всегда любимого друга. <...>

Этим первым моим свиданием с Бакуниным определились наши с ним дальнейшие отношения. Я не знала Бакунина в разгар его политической деятельности. Для меня он до своей смерти оставался просто человеком, больным, престарелым и подчас капризным другом, всегда страдавшим физически, но в котором еще жила сила ума, блеск трибуна, железная воля, помогавшая ему со смирением святого выносить лютый недуг».

Мемуаристка, не имевшая в Лугано никаких знакомых, стала приходить к Бакунину почти ежедневно и оставаться зачастую до конца дня. Подозрения об ее «шпионстве» рассеялись сами собой, и она быстро сделалась своим человеком в семье, выполняя, по существу, функции секретаря Бакунина и до самой смерти оставаясь его доверенным лицом. Он как раз намеревался в очередной раз засесть за собственные мемуары, и безвозмездная помощь А. В. Вебер-Баулер оказалась как нельзя кстати. Можно даже сказать: ее сам Бог послал. Окружавшие его итальянцы для этого совсем не подходили, тем более что в соответствии с предварительной договоренностью свои воспоминания Бакунин должен был представить на французском языке. Из-за нерешенных бытовых неурядиц и ухудшения самочувствия до конкретной работы дело так и не дошло, договорились только о порядке: Бакунин наговаривает текст, секретарь записывает его, обрабатывает его у себя дома, утром приносит все уже переписанное набело, зачитывает автору, с его слов вносит необходимую правку, и только после этого они переходят к следующему фрагменту. По счастью, наблюдательная и литературно одаренная девушка сама оставила воспоминания о последних месяцах жизни «великого бунтаря», давая в своих «зарисовках», как правило, точные, обстоятельные и вполне объективные характеристики:

«Многие упрекали его в неблагоприятном отношении к деньгам, у меня же сложилось убеждение, что отношение его к денежным делам было легкомысленное, а не предосудительное. Не могу представить себе, чтобы он когда-либо вымогал деньги сознательно и притом лично для себя. Его потребности во время моего знакомства с ним были в буквальном смысле слова ничтожны, жизнь его была скудная до бедности, несмотря на владение виллой. Одет он был всегда в одно и то же весьма истасканное платье, ел едва достаточную пищу, даже постели у него удобной не было: на его узенькой железной кровати с трудом умещалось его громадное тело. Она была ему коротка, вся шаталась и скрипела при малейшем движении, а большой старый платок, служивший одеялом, покрывал его еле-еле. Единственной его роскошью были табак и чай. Курил он целый день, не переставая, и целую ночь с небольшими перерывами сна, когда боли давали спать. Чай пил, пока курил. Табак покупался чуть не пудами и лежал грудями на всех столах. То был какой-то особенный, совсем черный и крупной резки табак, из которого Бакунин крутил запасы необыкновенно толстых папирос. “Если буду при тебе умирать, — часто говаривал он, зажигая папиросу, — ты смотри не забудь сунуть мне в рот папироску, чтобы я перед самой смертью затянулся”».

Мемуаристка не разделяла идейных взглядов Бакунина, однако с первого дня знакомства попала под его обаяние. Точно такое же впечатление производили глубина, заразительность, тонкая диалектика и железная логика его речи на всех остальных. А. В. Вебер-Баулер попыталась небезуспешно и со стенографической точностью воспроизвести, как все происходило:

«<...> Я помню, как иногда в воскресный день в комнату Бакунина приходили двое, трое и больше рабочих. Сантандреа сидел недвижимо и, положив локти на стол, а свою голову римского патриция на скрещенные руки, смотрел большими черными экстатическими глазами прямо в рот Бакунина. Маццоти, более экспансивный, живой и наивный, улыбался, поддакивал, качал головой и с грустью поглядывал на меня, жалея, очевидно, что я не понимаю великих слов, не могу разделить его восторга. А Бакунин, куря папироску за папироской, отпивал глотками чай из огромной чашки и говорил долго и много. Иногда кто-нибудь из других присутствовавших что-нибудь возражал, и тогда, перебивая друг друга или говоря зараз, Сантандреа и Маццоти принимались объяснять и убеждать, а Бакунин слушал, одобрительно кивал головой или вставлял несколько слов. Вначале я не понимала даже общего смысла разговора, но, глядя на лица собеседников, мне казалось, что около меня происходит нечто необыкновенно важное и торжественное. Атмосфера этих бесед охватывала меня, создавала во мне — я бы хотела сказать, за неимением другого выражения — молитвенное настроение. Крепла вера, стушевывались сомнения. Значение личности Бакунина определялось для меня, фигура его росла. Я понимала, что сила его заключается в умении завладеть душами людей. Для меня не подлежало сомнению, что все эти люди, слушавшие его, были готовы на все по одному его слову. Он владел ими. Я могла перенести эти впечатления в другую обстановку, менее интимную, представить себе толпу и понимала, что влияние будет такое же. Только настроение энтузиазма, тихого и внутреннего здесь, станет неизмеримо сильнее, атмосфера делается грознее от взаимного заражения в толпе. <...>

Наблюдая отношение Михаила Александровича к простым людям, я все более удивлялась ему. Часто в длинных беседах вдвоем, излагая свои философские взгляды и как бы ретроспективно развивая свое мирозерцание, он говорил о гегельянизме и оспаривал его посылку за посылкой. Я только с большим усилием мысли могла следовать за ходом его логики. Тогда он удивлял меня яркостью своей оригинальной мысли, смелостью выводов. Когда же я видела, с какой легкостью он входил в умственное общение с людьми еле грамотными, с людьми другого класса, другой расы, — удивление мое еще усиливалось. Ведь, несмотря на упрощенность жизни и обстановки, Бакунин оставался настоящим русским баринком с головы до ног, а между тем стоял с рабочими на равной ноге.

В отношениях коммунаров, живших в Лугано, к рабочим мне все чувствовалось или заискивание, или снисходительство. У Бакунина выходила органически, без малейшего усилия простая дружба. Он мог кричать на Филиппо или на Андреа как на мальчишек, мог держать их под гипнозом своих идей и мог подолгу рассуждать с ними об их и своих ежедневных делах, выслушивать и сообщать партийные и городские сплетни, шутить, острить, хохотать их шуткам. Тогда меня это поражало, потому что противоречило моей теории, по которой выходило, что нельзя быть услышанным народом, не став в его ряды. Потом, думая об этом часто и много, я пришла к заключению, что именно его свойства настоящего русского барина и помогали ему в этих отношениях: в наших крепостных нравах на практике было много патриархально-демократического...»

Окружавшие Бакунина итальянские рабочие старались отплатить добром за добро. Доктор, по рассказу А. В. Вебер-Баулер, определил у Бакунина болезнь мочевого пузыря, и больному утром и вечером надо было делать какие-то втирания, прибирать его комнату, а иногда, когда у него бывали сильные боли, надо было помочь ему одеться и раздеться. «...Все это делали по очереди итальянские рабочие-анархисты, жившие тогда в Лугано, спасаясь от преследования властей на родине. Так велико было обаяние его удивительной личности до последнего часа его жизни, что в небольшой группе итальянских анархистов-изгнанников, простых сапожников, угольщиков и цирюльников Бакунин имел не только друзей, но и воистину обожавших его сыновей. Ежедневно сапожник Андреа Сантандреа после тяжелой дневной работы приходил на виллу укладывать Михаила Александровича в постель и, сделав все нужные манипуляции, сидел с ним до глубокой ночи. Утром приходил Филиппо Маццоти. Были и другие сидельцы-добровольцы, но Бакунин не любил их услуг: малейшая неловкость раздражала его, хотя раздражение свое он ничем не выражал, кроме глухого стоны, а бедный доброволец при этом лвином стоны терял последний признак уместности. Все эти люди, едва жившие на свои ничтожные гроши, не только не получали никакой платы от Бакунина, но часто на собственные деньги покупали для него какие-нибудь лакомства. И если бы Бакунин вздумал отказаться принять от кого-нибудь из них услуги или подарок, он причинил бы им величайшее горе и оскорбление. Я никогда не видела ни раньше, ни позже такой восторженной, бескорыстной преданности. То было любовное романтическое чувство учеников к учителю, чувство, где преданность идее сливается с преданностью личности, несущей идею. Так, вероятно, некогда складывались отношения между великими художниками и их учениками, между основателями религий и их ближайшими последователями». Автор воспоминаний о последних месяцах жизни Бакунина задается вопросом: в чем собственно состояли чары Бакунина? По ее мнению, точно этого определить невозможно, потому что самое верное определение будет не вполне ясная

формула: во всем его существе!

Революция по-прежнему оставалась его главной и единственной любовью, несмотря на недавние глубокие разочарования и неверие в ее ближайшие перспективы. Менее чем за год до смерти он писал: «Оглядываясь на окружающие нас события и явления момента, в который мы живем, на подлость, мелкоту, трусость, бездушные характеров; на полное отсутствие честных стремлений (в большинстве), на тупость, эгоизм, на буржуазность и беспомощность пролетариата, на стадность, на самолюбишки [так!] и проч[ее], на весь современный склад нравственной личности, на социалистическую развращенность рабочего, испорченного болтовней и утратившего даже инстинкт, — я ничего не жду от современного поколения. Знаю только один способ, которым еще можно служить делу революции, — это срыванием масок с так называемых революционеров. Разве вы не знаете, что в революционной партии на 100 человек, наверно, 90 подлецов и негодяев, вредящих делу. Это между интеллигенцией, а в народе? Вот с каких пор я наблюдаю и вдумываюсь в народ, после Парижа, Лиона, после французской войны и Коммуны, везде вижу одно — лишь полное отсутствие человечности, одну лишь цивилизационную гангрену буржуазных стремлений. Исключения редки и даже, по-моему, необъяснимы. Что же делать? Ждать. Ждать, что, может быть, обстоятельства европейские сложатся круче, то есть совокупность экономических и политических условий. Индивидуальная же деятельность, организаторская, агитаторская не приблизит, не изменит ничего. Наш час не пришел...»

Самое теплое и нежное отношение у Бакунина было к детям, жившим с ним под одной крышей и носившим его фамилию. У Антоси их было уже трое: старший мальчик — Карлучио и две девочки — Софья и Мария. Первую он звал Бомбой, вторую — Маруськой и баловал больше остальных. Для детей у него всегда были припасены плитки шоколада, в саду он устраивал для них игры «в дикарей», разжигал большие костры и рассказывал увлекательные истории. Иногда Бакунин, опираясь на плечо своего секретаря, совершал прогулки в окрестностях виллы, называя себя Эдипом, а ее Антигоной. Передвигался с большим трудом, часто останавливаясь, пережидая боль...

\* \* \*

Деньги (3 тысячи франков) на первый взнос за виллу Бакунин, как обычно, одолжил, остальные (еще 27 тысяч франков) рассчитывал получить за счет выделенной наконец-таки доли наследства. За деньгами в Россию и для оформления всех сделок поехала сестра Антонии Софья (Зося), вышедшая к тому времени замуж и носившая фамилию Лозовская. В ожидании ее возвращения Бакунин пребывал в приподнятом настроении, полный самых радужных надежд и воистину маниловских прожектов. Он решил воссоздать в швейцарском Лугано, насколько это возможно, родное Прямухино. На помощь и вообще хотя бы для временного воссоединения звал братьев и единственную оставшуюся в живых сестру Александру (самая близкая и любимая Татьяна скончалась в 1871 году — через пять лет после Варвары). 1 марта 1875 года он напомнил братьям из Лугано о «древней прямухинской дружбе»:

«<...> Может быть, один из Вас, а может быть, и все, один за другим или с другим решите сделать последнее путешествие к старому брату, перед его последним путешествием в гроб. Очень желал бы я встретиться хоть раз с Николаем и попробовать с ним последнее теоретическое и практическое взаимное объяснение. Может быть, мы и столковались бы. И тебя, милую сестру Сашу, горячо желаю видеть. — Ведь мы с тобою два последние могикана из самого первоначального прямухинского мира, начиная с той поры, как мы бежали вокруг висящих ламп и как я с Татьяною уходил на остров. Много, много воспоминаний возникло бы между нами при встрече, — неужели же мы никогда не встретимся? Да, я желаю видеть всех, всех с горячею братскою радостью обниму — приезжайте только. Теперь Вам будет это легко: в политическом отношении безопасно, так как я живу отныне вне всякой политики, а в финансовом также удобно: Вам будет стоить только дорога в Лугано и обратно, здесь же, в нашем доме, разумеется, не издержите ни копейки. А какие прогулки отсюда... Милан в двух шагах. Не только всех Вас, приглашаю незнакомых мне племянников и племянниц, seux qui voudront venir, seront les bienvenus. (Все, кто захочет приехать, будут желанными гостями. — В. Д.) Но главным образом Вы все приезжайте — Павел и Алексей, да и ты, Николай; Вы мне поможете советом в устройстве дома, а главное сада и огорода, — я хочу устроить здесь маленькое царство небесное, знаешь, и климат и почва, все удобно — будет масса фруктов, овощей и цветов, — воскресим память отца...»

Это — последнее из дошедших до нас писем, отправленных в Прямухино. Особенно трогает в нем память об отце и далеких-далеких впечатлениях детства. Но суровая реальность, как это нередко случается, опрокинула все сладкие мечты о возрождении «прямухинского рая». Денег, выделенных братьями и вырученных от продажи недвижимости (в общей сложности 7 тысяч рублей), оказалось совершенно недостаточно для выплаты неотложных долгов и выкупа так полюбившегося Михаилу дома и сада. Над Бакуниным и его семьей в очередной раз нависла угроза полного разорения. Кредиторы сообща предъявили трехмесячный ультиматум. Заложить виллу не удалось, оставалось одно — отдать ее кредиторам в счет уплаты долга, а самому уехать из Лугано в Италию.

Однако въезд туда для Бакунина представлялся проблематичным: он числился среди зачинщиков неудавшегося Болонского восстания и в любой момент мог подвергнуться аресту. К счастью, итальянское министерство внутренних дел в то время возглавлял придерживавшийся «левых» взглядов Никотера, некогда лично знавший Бакунина. Он заверил старого революционера, что никакие преследования ему при переезде в Италию не угрожают. Для выбора и окончательного определения места жительства Антония Ксаверьевна выехала 13 июня 1876 года в Италию, а Михаил Александрович в сопровождении друга, рабочего Сантандреа — в Берн, чтобы проконсультироваться и подлечиться у своего давнего приятеля профессора А. Фохта. Чувствовал он себя все хуже и хуже, не спал по несколько ночей кряду, днем дремал, положив туловище на стол.

По прибытии в Берн Бакунина прямо с вокзала отвезли в клинику, где его сразу же навестили давние и преданные друзья — супруги Рейхель, опекавшие Михаила еще со времени заключения в Кенигштейнской крепости. Это ведь он, друг Адольф, тогда, четверть века назад, на свои последние деньги покупал для Михаила фундаментальные математические трактаты, дабы хоть как-то скрасить жизнь русского узника. Жене Рейхеля, русской по происхождению, Бакунин шепнул на ухо: «Маша, я приехал сюда умирать». Он

знал, о чем говорит, и понимал, что назад домой не вернется (собственно, и дома как такового уже не было). Однако на другой день больной попросился на квартиру к Рейхелям послушать музыку. Адольф, профессиональный музыкант, стал играть на фортепьяно заказанные Михаилом сонаты Бетховена. Бакунин слушал, прислонясь спиной к круглой железной печке (сидеть ему было затруднительно), но вскоре почувствовал себя плохо и вынужден был вернуться в больницу — больше он оттуда не выходил.

Рейхели ежедневно навещали его в клинике. Мария Каспаровна варила Мишелю кашу (достать гречку в Швейцарии оказалось крайне затруднительно — пришлось обегать всю столицу). С Адольфом Михаил вспоминал прошлое, Дрезденское восстание, молодого Рихарда Вагнера — в то время демократа до мозга костей, а ныне аристократа духа и знаменитейшего композитора, новую музыку которого они понимали плохо. Зато о Бетховене — любимом композиторе обоих — могли говорить до бесконечности. Бакунин рассказывал, как в долгие годы тюремного заключения научился мысленно проигрывать его сонаты и симфонии (то, что мог вспомнить), а о Девятой симфонии с шиллеровской «Одой к радости» в финале сказал с афористической четкостью: «Всё пройдет, и мир погибнет, а Девятая симфония останется». (Нечто подобное он говорил и Рихарду Вагнеру при их первой встрече в Дрездене весной 1849 года.)

Сошлись старые друзья также и на Шопенгауэре, чья знаменитая книга «Мир как воля и представление» по-прежнему была вместе с Михаилом — лежала на прикроватном табурете. Но чаще всего умирающий вспоминал Прямухино, поименно называл сестер, ближе которых у него когда-то не было никого, и маленьких братьев, бегавших за старшим, как собачонки. Рассказывал о любимой книге их детства и отрочества — зачитанном до дыр «Швейцарском Робинзоне», его они долгими зимними вечерами, собравшись в гостиной, по очереди читали вслух. О политике не говорили совсем. Лишь однажды Бакунин попытался поточнее воспроизвести сказанные про него, как всегда, оригинальные герценовские слова: «Русский Дантон, которому не досталось революции...»

Тем временем всеразрушающая болезнь (точнее — совокупность таковых) быстро брала свое. Первыми отказали почки, началась уремия, постепенно угасало сознание. Последнее, что предстало перед его затухающим взором, — мудрое, доброе, но полное грусти и скептической укоризны лицо отца и одиннадцать лип в аллее прямухинского парка, посаженных в честь каждого родившегося на этой земле ребенка... Смерть наступила 1 июля 1876 года около полудня. По Берну среди многочисленной русской колонии быстро разнеслась скорбная весть. Но и швейцарцы, обычно равнодушные к чужим проблемам — особенно эмигрантским, говорили: «Сегодня великого Бакунина не стало». Тело перенесли в покойницкую, куда вскоре потянулись люди, независимо от их политической ориентации, они несли цветы и венки. В прошлое уходила целая эпоха.

Одному из очевидцев мертвый Бакунин напомнил почерневший дуб, сраженный грозой. Другой писал: «Вот он, революционный гигант, перед которым трепетали повелители народов! Неутомимый агитатор, который до последних лет не мог жить, не борясь с шарлатанами власти на земле, с идолами власти на небе! Тот, одно присутствие которого на границе страны считалось опасностью! Он мало изменился. Отек лица сгладил морщины. Казалось, вот блеснет его взгляд; вот затрещит его пламенная речь! Но около глаз и рта

была уже кровавая пена. Тот, кого не раздавили темницы Саксонии, Австрии, России, кто из Сибири вернулся через 15 лет все таким же неукротимым борцом, был, наконец, сломан болезнью в мирном Берне...»

Через день несколько десятков соратников (те, кто успел добраться до Берна за сутки) хоронили своего вождя. Лошади еле дотащили до кладбища невиданно большой гроб. Жена отсутствовала: ее с трудом разыскали в Италии, и на похороны она опоздала; когда увидела могилу, упала в обморок; дети остались в Лугано под присмотром сестры. Среди провожавших в последний путь великого БОРЦА ЗА СВОБОДУ было много представителей нескольких европейских стран, преимущественно рабочих-интернационалистов. Надгробные речи прозвучали на нескольких языках. Газета «Вперед», издававшаяся в Лондоне крупнейшим деятелем русского освободительного движения Петром Лавровичем Лавровым (1823–1900), откликнулась на смерть своего вообще-то идейного оппонента сочувственным некрологом:

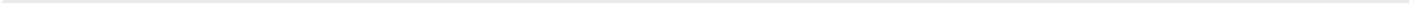
«Михаил Александрович Бакунин записал свое имя в истории революционного периода слишком глубокими чертами, чтобы оно могло быть забыто или пройдено молчанием. Оценка его исторического значения принадлежит будущему. В настоящем его имя возбуждает еще слишком страстное отношение, чтобы допустить вполне верное суждение о его деятельности. Личность в высшей степени даровитая, имевшая чарующее действие на большинство лиц, с которыми он сближался, М. А. Бакунин играл всегда первую роль во всяком движении, в котором участвовал. Личность, в высшей степени увлекающаяся и увлекающая других, он слишком часто был окружен людьми, его недостойными и компрометировавшими его своею близостью. Он не раз менял свои программы и свое направление, пытался придать первым более ширины, последнему более целесообразности и каждый раз предавался вполне той программе и тому направлению, которому принадлежал в данную минуту. <...> Он всегда готов был положить свою жизнь за дело, которому служил... Я не буду говорить об его деятельности в Интернационале за последние годы: она хорошо памятна и друзьям, и врагам его; позволю себе надеяться, что он и тут с обыкновенною страстностью своей натуры неуклонно стремился к тому, что ему казалось лучшим. <...> Каково бы ни было различие во взглядах между нами, каковы бы ни были наши личные отношения, ни один русский социалист-революционер не может узнать о смерти Михаила Александровича без того, чтобы сказать, одна из самых крупных сил в рядах русского и всемирного рабочего социализма сошла со сцены в настоящую минуту.<...>

Если бы хотели известить все страны и местности, по которым Бакунин оставил след своей жизни, своего влияния, пришлось бы сзывать целый мир. Дрезден, Прага, Париж, Лион, Лондон, Стокгольм, Италия, Испания должны бы явиться на похороны того, кто вошел в их историю, не говоря уже о нашей родине, где столько друзей и врагов, столько хвалителей и порицателей было пробуждено к общественной жизни или вызвано к деятельности словом и делом, истинами и парадоксами этого всемирного агитатора.

В действительности успела собраться небольшая кучка, человек в 50. Тут были друзья, подавленные горем. Тут были люди, делившие с Бакуниным опасности в разное время, в разных местностях. Была и молодежь, для которой это был учитель. Были люди, не разделявшие его мнений, стоявшие в противном лагере. <...> Но в эту минуту... все это

было неразлично. Была лишь одна группа людей, которая хоронила историческую силу, представителя полувекового революционного движения».

На бернском кладбище в Швейцарии и сегодня внимание посетителей привлекает простая, грубо обработанная гранитная стела, на ней выбиты всего два слова — MICHEL BAKUNINE и даты — 1814–1876. Здесь, вдали от родины, похоронен один из титанов мировой революции — великий русский бунтарь, изгнанник и скиталец, которому оказался тесен целый мир...



Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 30 июня 2025 19:32:31

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 30 июня 2025 19:33:34